

К

огда-то давно я любил ветер, особенно весенний, ночной, влажный, напоенный запахами, страстно ласкающий кожу. Ветер сообщал мне что-то, будил беспричинную радость и предвкушение того, чего я еще не знал. Он дул словно из моего будущего и приносил с собой какие-то понятные, узнаваемые, и всегда приятные мысли и ощущения.

Еще я любил небо и облака на нем. Днем, когда они походили то на горы, то на старинные замки, и ветреной ночью, когда они быстро плыли на фоне луны, меняя цвет и форму.

Здесь ветер наклонял ковыль, которым заросло старинное заброшенное кладбище, и мне мерещилось, что серые, обточенные временем и ветром кресты с треугольниками на верхушке, наклоняются влево вместе с ковылем. Казалось, что на лугу начинается отлив и вот-вот трава с крестами и едва заметными холмиками уйдут, обнажится земля, старые кости, черепа с пустыми равнодушными глазницами.

Отлив продолжался и днем. Он открывал взору петлистую пыльную дорожку, по которой шел человек в ватной телогрейке и зимней шапке, несмотря

на теплый сентябрьский день, старый трактор с хлопающей на ветру дверью кабины, давно брошенный и надежно вплавленный в прошлогоднюю грязь, собаку, деловито спешащую куда-то, одинокую курицу, тяжелые избы с покосившимися заборами.

В прозрачном воздухе была отчетливо видна каждая деталь, живущая своей, отдельной жизнью: сломанная когда-то и неправильно сросшаяся доска, шляпка гвоздя, вылезшая из ступени крыльца погреться на солнце, серый мертвый наличник, которому ветер придал причудливую форму, выточив в нем за годы отверстия и плавные изгибы. Место это словно бы принадлежало другой, неизвестной стране.

Ночью облака цеплялись за полуразрушенный купол церкви, слева висела огромная багровая луна. Темные облака то закрывали, то открывали ее, и мне чудилось, что и в небе начинается отлив и скоро обнажится черная отмель космоса со сверкающими на его дне звездами.

* * *

Наверное, в этом заключался какой-то секрет: страна внутри другой страны. Или несколько стран, прячущихся друг в друге, как матрешки. Обитателям каждой страны никто не был нужен, но время от времени им приходилось мигрировать, вроде бы внутри одного государства, переезжая из сел в города, из теплых мест в суровые и холодные. На самом деле они пересекали невидимые государственные границы, растворяясь в абсолютно чужой для них жизни или растворяя чужую жизнь в своей. Все зависело от количества мигрантов, а оно, в свою очередь, — от степени катастроф, сотрясавших эти огромные пространства. Может быть, поэтому никто и никогда не мог завоевать эти места, думая, что воюет против одного государства, не подозревая, что идет войной на несколько стран и что ему не хватит ни техники, ни живой силы, ни стратегий, чтобы завоевать их все.

Впрочем, такие мысли посещали меня тогда не часто, в основном, в дни поездок в отдаленные от районного центра села, когда необходимый материал для газеты был уже собран, и я ждал машину, которая должна была отвезти меня домой. А соображения о странах внутри другой страны пришли гораздо позже, когда уже давно не стало главной, самой большой матрешки. Однако оставались другие, потому что никто не удосужился проверить, как много их внутри, и до какого размера они могут уменьшаться, пока не покажется последняя, самая маленькая. Может быть, главной была как раз она, тихо сидевшая внутри, в то время как другие — белокурые, раскосые, смуглые — раскрывались и падали с той полки серванта, где они стояли долгое время рядом, все пятнадцать. После них остались только круги в плотной серой пыли, которую редко вытирали; полка находилась за стеклом, и туда было сложно добраться.

* * *

После окончания университета мы с женой по распределению, как было тогда положено, начали работать в редакции газеты небольшого районного центра. Месяца три жили в гостинице, маленькой, пустой, печальной, словно захолустный советский heart-

breakhotel. Гостиница эта ничем не запомнилась, кроме печального огорода, на который выходил ее черный ход. Да еще однажды какой-то безрукий командировочный положил на ночь свой протез на тумбочку в коридоре. Жена, увидев в тусклом свете ночника желтую руку, сильно испугалась и дня два не могла нормально работать.

Потом в старом двухэтажном доме нам выделили квартиру, состоящую из комнаты с кухней, в которой стояла большая печь, и летней веранды с большими застекленными окнами и дверью, выходящей в палисадник с двумя черемухами, кустами крыжовника и чахлыми цветами на длинных стеблях. Уголь для печного отопления я хранил в старом сарае. Слишком большие куски приходилось колоть обухом топора. Зимой квартира нагревалась быстро. Вечерами, если нам не приходилось сидеть в гостях у кого-нибудь из журналистов редакции, мы смотрели из своей неосвещенной кухни во двор и наблюдали жизнь обитателей дома. Толстая молодая женщина в старом коротком халате выходила в уборную, стоящую в углу двора, увязая в снегу и теряя домашние тапки. Она, не глядя себе под ноги, искала тапок босой ногой, наступая время от времени в снег и мне казалось, что он быстро тает под ее жаркой тяжелой ступней. Выходил сосед, не торопясь проходил в низкий вольер, где сутились три охотничьи собаки, красивые, поджарые и нервные, словно английские гувернантки, попавшие в непривычную и опасную ситуацию.

Двор пустел. Жена всегда засыпала раньше меня. Я ложился и читал, а потом дремал под негромкую музыку, доносящуюся из соседней квартиры, где жил милиционер с семьей, состоящей из жены и маленького тихого бледного задумчивого ребенка. Кажется, он болел чем-то серьезным. Музыка была странной: в песнях, исполняемых под блатные аккорды, присутствовало много матерных выражений, но исполнитель произносил их без эмоций, отчего казалось, что он поет на неизвестном языке. Во дворе слабо повизгивали во сне собаки, которых звали Вьюга, Метель и Пурга, а в духовке старой газовой плиты, стоящей на кухне, возилась, устраиваясь на ночь, одинокая мышь, гремая лежащими там без дела алюминиевыми крышками от кастрюль.

* * *

Улица, на которой мы жили, называлась странно: Красная Площадь. Это было ее официальное название и адрес, напечатанный на конверте, выглядел несколько пугающе. Если бы он был написан от руки, то, возможно, читался бы по-другому, но личные письма мне тогда не приходили; только официальные уведомления или квитанции на получение гонорара из тех редакций, куда я отправлял свои корреспонденции.

Улица выходила на центральную площадь, несоразмерно просторную для маленького старого районного центра. На площади с памятником Ленину посередине стояли здания райкома партии и дворца культуры, переделанного из церкви, несколько магазинов и двухэтажная редакция с типографией на первом этаже.

В это утро я вышел из дома рано, но городок уже начал жить своей обычной неторопливой жизнью: женщины ехали на базар,

оседлав тяжелые старые велосипеды. Мимо меня проехал мужчина. Его велосипед стрекотал, как кузнечик. Штанины его внизу были зажаты деревянными прищепками, чтобы брюки не пачкались о колеса и не застревали между спицами. Я зашел в магазин. На прилавке стояли рядами бутылки белого сухого венгерского вина. Его никто не покупал. Я подумал, что стоит взять бутылку на вечер и зажарить на ужин пару цыплят.

Цыплята были худыми, но нежными. Вчера мой шеф захватил меня на местную птицефабрику и там нас нагрузили цыплятами. Мастер позвал нас в огромный цех, где они сидели на насестах, похожие на католических священников в белых сутанах.

— Мы вам сейчас набьем по десяточку, — сказал мастер и пронзительно засвистел.

Несколько десятков цыплят попадали с насестов на пол. Их собрали и унесли, а когда мы уезжали, вручили нам по большому пакету. Я понял, что цыплята умирают от испуга и от неожиданности происходящего. Они не подозревают о том, что в цехе можно свистеть. Если бы в кабинет, где проходило заседание бюро райкома партии, зашел человек с улицы и засвистел в два пальца, то, возможно, тоже не обошлось бы без нескольких летальных исходов.

* * *

Сотрудники редакции уже стояли тесной группой у входа в типографию.

— Ну что, готов? — спросил меня Яков Витальевич, заместитель редактора, высокий старик в золотых очках, служивший во время войны в СМЕРШе.

— Всегда готов! — ответил я.

Коллектив редакции выезжал сегодня в подшефный колхоз на прополку сахарной свеклы. Людей в селе не хватало, а свекла нуждалась в прополке, как, наверное, любой из нас. Утром я надел старые джинсы. Я не знал, в чем еще может выразиться моя готовность. Мы доехали до села быстро: располагалось оно километрах в восьми от райцентра. Называлось село Ивановка, а колхоз, в который оно входило, носил имя Феликса Дзержинского. Свекольная плантация оказалась скучной, не то, что поля подсолнухов, на которые можно было смотреть часами, или кукурузные стебли, напоминающие триффидов, пока не появлялись початки.

Прополка заняла весь день. Где-то вдалеке виднелись сгорбленные фигуры на такой же плантации, видно было, как они совершали тяпками однообразные движения, потом пили воду, высоко поднимая головы, садились на землю, курили и опять брались за тяпки. Механическая работа успокаивает, а с течением времени ты даже находишь в ней что-то приятное. Говорят, что она помогает думать, но это не так. Она, наоборот, помогает не думать. Эта мысленная пустота была сродни ровному пустому пространству вокруг меня.

Сорняки занимали половину поля: свежие, мясистые, темно-зеленые, с длинными корнями — они послушно падали на сухую землю и прямо на глазах тускнели, теряли цвет и упругость.

К вечеру с запада зашли тучи. Далекие поля приобрели сказоч-

ный сизый цвет, в воздухе повеяло тревогой, а бегущие к лесополосе человеческие фигурки на соседнем поле, казалось, спасаются не от приближающегося дождя, а от невидимого пока татаро-монгольского войска.

* * *

Российский осенний дождь — нудный и затяжной — настраивает на печальные мысли, а если ты попал под него на пустой дороге, вдалеке от жилья, без зонта, плаща и кепки и через пятнадцать минут промок до нитки — заставляет ощутить некое подобие медитации. Озноб сменяется раздражением, раздражение — злостью и упреками неудавшейся судьбе, потом приходит равнодушие, через время — осознание непреложности и неизменности происходящего, а затем ты просто механически идешь в нужном, как тебе кажется, направлении. Голова твоя пуста, мозг освободился от всего лишнего и ненужного, и ты знаешь, что если сейчас вдруг поднимешься в воздух, то в этом не будет ничего удивительного...

Мы шли по пустой, местами заасфальтированной дороге к районному центру, навстречу машине, которая должна была забрать нас. Каждый думал о своем, забыв об окружающих. Яков Витальевич дымил папиросой, спрятав ее в кулак от дождевых капель, и смотрел вперед, поблескивая очками в золотой оправе, а остальные шли, неся на плече тяпки как ружья, и смотрели себе под ноги.

* * *

Послышался звук мотора, но доносился он не с той стороны, откуда должна была приехать наша машина, а с противоположной. Нас кто-то догонял. Через минуту мимо на большой скорости промчался «газик». Водитель сбавил скорость и остановился, не съезжая на обочину, метрах в двадцати впереди нас. Открылась передняя дверь. Это явно было приглашением, но мои коллеги как-то тревожно переглянулись, зашептались, втянули головы в плечи и, в конце концов, остановились. Я не понял причин такого странного поведения и, сказав «до завтра», побежал к машине.

Меня немного удивил экстерьер «газика». В те времена автомобили этой марки, на которых ездили председатели колхозов и директора небольших заводов и фабрик, были серо-зелеными, грязными, запыленными и ободранными, как бродячие собаки. Этот же сверкал хромом и свежей голубой краской.

Я сел на переднее сиденье, поздоровался и захлопнул дверь. Сидевший за рулем человек не ответил на мое приветствие, лишь слегка кивнул головой.

Интерьер «газика» заслуживал не меньшего внимания, чем экстерьер. Сиденья были кожаными, на окнах висели синие бархатные шторы, а многие детали, такие, как плафон на потолке кабины, подголовники, хромированные ручки и прочее, явно говорило о спецборке, хотя вряд ли они добавляли комфорта. Задача стояла другая: показать статус хозяина автомобиля.

Мужчина за рулем был молчалив. Он выглядел не то чтобы невозмутимым или спокойным, а словно застывшим, замороженным или экономящим жесты и движения. Сейчас я подумал бы, что он находился под действием определенных препаратов, но тогда таких препаратов не было. Его руки и лицо, казалось, вырубил топором из темного дерева. Слегка раскосые, неопределенного цвета глаза смотрели на дорогу. Если бы не машина и не костюм со скромным галстуком, его вполне можно было принять за сотника невидимой, но наступающей армии Чингиз-хана, от которой спасались в лесополосе люди со свекловичной плантации.

Дорога до районного центра заняла минут десять. За это время он не произнес ни единого слова. Я тоже молчал. Дождь кончился, низко на горизонте показалось солнце, и лужи заблестели золотом.

— *И блеском золотым весь город одержим в неистовом предсумрачном сиянье,* — процитировал я, подумав, что эти неуместные строки могут послужить платой за мой проезд. Мне почему-то показалось, что деньги предлагать ни в коем случае нельзя.

Мужчина за рулем кивнул, как бы соглашаясь со мной и с Бодлером. Не снижая скорости, он въехал на несуразно огромную и абсолютно пустую центральную площадь, при виде которой я всегда думаю про Тяньаньмэнь, и затормозил. Я открыл дверь, вышел и, наклонившись, поблагодарил его. Он опять не ответил. Я заметил, что он пристально смотрит на мои подвернутые до колен джинсы. Убрав правую руку с руля, он сделал ладонью несколько движений вниз, как будто утрамбовывал что-то. Я в недоумении пожал плечами. И тогда он разомкнул губы и медленно, с явным напряжением, сказал:

— Опустите штаны. Вы же сейчас пойдете мимо памятника Ленину.

Я растерялся и разозлился одновременно, но, тем не менее, пошел на компромисс и опустил одну штанину. Уже подходя к дому, я сообразил, что это было еще хуже, и мой жест выглядел как некий протест...

Мне, как человеку, родившемуся и выросшему в большом городе, труднее всего было привыкнуть к вечерам районного центра. К девяти часам городок словно вымирал. Остывал на асфальте площади летний зной, опускалась зябкая ноябрьская темнота, сеял редкий бесшумный дождь или падал сухой снежок — в любую погоду и время года вечера были тихи и безлюдны. Моей жене было проще: она родилась и выросла тоже в маленьком городе, правда, южном, теплом, продуваемым ветрами Азовского моря. Там росли грецкие орехи и цвели олеандры. Так что морозы доставляли ей определенный дискомфорт. Но нас было двое, и мы старались не подпускать близко уныние, концентрация которого в воздухе то росла, то уменьшалась, как атмосферное давление.

Спустя много лет, когда на экраны вышел фильм «Сайлент Хилл», я сразу узнал в этом мертвом мистическом городе вечера районного

центра: голубеющую в сумерках капусту на огородах, фантастический параллелепипед элеватора с красным фонариком на крыше, телегу с торчащими в небо оглоблями, гниющую в тупичке между двумя зданиями непонятного назначения, сложенными из серого силикатного кирпича, огромными амбарными замками на дверях хлебного и молочного магазинов. Это был советский Сайлент Хилл, уходящий и умирающий. Но никто не подозревал, что через несколько лет, когда центробежные силы разорвут странную государственную мозаику СССР с удивительной силой и легкостью, этот городок не исчезнет. Его, насколько будет позволять бюджет, подгримируют, как гримируют покойника, оденут в соответствующие времени одежды, но отложат похороны на неопределенный срок. Кто-то ведь всегда будет жить здесь, вечно отпевая умершего и не имея возможности отпеть до конца, ибо смерть может продолжаться так же долго, как и жизнь.

* * *

Редакционная жизнь, меж тем, тянулась вяло и предсказуемо. Она была пропитана едким запахом типографского свинца, бумаги и табака в прокуренных кабинетах, дешевых духов сотрудниц редакции, скуки.

В пункте проката я взял себе старый тяжелый велосипед и каждый день в обеденный перерыв ехал за город, к безлюдному пруду, на берегу которого росла огромная плакучая ива. Я залезал на дерево, садился на толстую горизонтальную ветку, курил и думал о будущем. Планировать что-то конкретное я мог не более чем на полгода вперед, а дальше мысли терялись в розовом волнующем тумане. Да и планы были не очень смелыми, вполне реальными, выполнимыми и даже обязательными, как прыжок через лужу. Такое время отстаивалось тогда, словно закупоренное в пробирку. По осадку на дне можно было предсказать ближайшее будущее со стопроцентной точностью. Я не знал точно, но догадывался, что будущее, которое сейчас стало прошлым, окажется именно таким. В советский генезис внесли серьезные коррективы, страна исчезла, и, как написал через несколько лет один из русских писателей, это был тот случай, когда государство впало в нирвану. Люди мутировали под воздействием жесткой радиации новых экономических и политических парадигм, как вирусы, приспособляющиеся к новым медицинским препаратам. Но у некоторых сработал иммунитет, причем, что удивительно, у тех, кто ждал перемен. Видимо, прививки в свое время были достаточно серьезными или подсознание вылезло наружу и заставило задуматься о своем истинном происхождении, а может быть, затошнило от исторических параллелей и несоответствий, веками существующих в мире понятий, которые приобрели у нас совершенно иной смысл и окраску.

Но в то время жилось проще.

* * *

В пятницу, в конце рабочего дня, мой шеф, заведующий отделом сельского хозяйства районной газеты «Знамя Ленина» Николай Stanisлавович, пригласил нас с женой на тушеного зайца, которого подстрелил на охоте.

Мы сидели в большой комнате, казавшейся тесноватой от большого количества импортной мебели, хрусталя и собраний сочинений русских и зарубежных классиков: жена шефа в свое время работала в системе торговли, пока не отсидела небольшой срок. Обошлось, однако, без конфискации. Она говорила что-то о черных розах, а шеф подкладывал нам на тарелки куски зайчатины и соленые помидоры и разливал по объемистым хрустальным стопкам ароматный, настоящий на травах самогон.

— Нельзя убивать зайцев, Николай Станиславович, — сказал я, слегка захмелев. — *Страсть к убийству, как страсть к зачатию, непонятная и зловещая, она нынче вопит: «Зайчатины!», завтра вззоет о человечине.*

— Далеко пойдешь, — сказал шеф, похлопав меня по плечу. — Ведь уедешь скоро, я чувствую. Заберут тебя в областную газету. Забудешь через год о нас. Так что ешь зайца, пей самогон, набирайся опыта. Хотя, честно говоря, никакого опыта ты тут не наберешься. Главное, чтобы отращивание к профессии не пришлось... Пошли, покажу библиотеку свою, здесь не все.

Мы прошли в соседнюю комнату, шеф включил свет и открыл стеклянные дверцы книжного шкафа. Здесь было много дефицитных книг, и я сразу попросил на неделю Маркеса и еще кого-то. Шеф великодушно снял книги с полки и протянул мне.

— Есть у меня еще одна штука, — понизив голос, сказал он. — Эротический роман. На машинке перепечатан. «Пантеон любви» Или «Пансион любви», не помню... Сейчас найду...

Я сказал, что «Пансион любви» возьму в следующий раз, и мы вышли в заснеженный сад покурить, накинув какие-то пахнущие нафталином меховые безрукавки...

* * *

Я постепенно привыкал к месту, где жил, к людям, к удивительно красивым полям невероятных оттенков, к гудению пламени в печке, к водке в каждом колхозе, куда приходилось ездить, к осенней грязи, к словам тех, о ком я писал: «Не знаю я, что сказать, вы сами придумайте что-нибудь». Придумывать не хотелось, но и писать было особенно не о чем. Люди — механизаторы, доярки, агрономы, зоотехники — были просты, неразговорчивы, а иногда до того суровы, что я испытывал какую-то неловкость, отрывая их от работы и задавая надоевшие им вопросы. Не мог только привыкнуть к суконному языку районной газеты и сейчас с неприятным удивлением смотрю и читаю опусы и сюжеты нынешних журналистов, которые употребляют те же самые клише, от которых меня передергивало в те давние времена: «голубое топливо» или «лесная красавица»...

Каждый день я видел в редакции своего шефа, с ежиком волос и подтянутыми до подмышек брюками, Якова Витальевича в коричневой выглаженной «тройке», золотых очках, с вечной папиросой, засунутой в мундштук; пожилого фотокорреспондента Владимира Ивановича, суетящегося, как мальчишка, глухого на левое ухо, в неизменном черном костюме, лоснящемся на локтях и коленях; ответственного секретаря Светлану Борисовну, женщину с постоянно

испуганным взглядом, прячущую кисти рук в рукава старенькой кофточкой; бравого редактора Петра Петровича с казачьими усами и волнистым чубом. Лица тоже становились привычными, и иногда я ловил себя на том, что начинаю испытывать какие-то теплые чувства к этому чужому районному центру, который со временем должен был вытолкнуть меня, как человеческий организм выталкивает инородное тело...

* * *

На моем письменном столе в кабинете стояла гильза от крупнокалиберного авиационного пулемета, в которую я воткнул несколько пшеничных колосков. Возможно, сейчас это произвело бы эффект на какой-либо выставке современного искусства, тем более, что на гильзе была довольно любопытная гравировка: святой Георгий, сидящий верхом на драконе и закалывающий копьём коня, и надпись: «О всадниках и...» Но тогда, спустя неделю, я осознал некую двусмысленность созданной мной композиции и выбросил в корзину сухие колкие колосья, а гильзу оставил, поскольку досталась она мне при удивительных обстоятельствах, и я ею дорожил. Она до сих пор стоит на моем письменном столе, напоминая о причудливости жизни и смерти. Я бы украсил ее колосьями, но беда в том, что в последние годы мне не попадаются на пути пшеничные поля, и я даже не уверен в том, что они где-нибудь есть. Кстати, мои коллеги, которые видели эту гравировку, никак не выражали своего отношения к ней. Может, они не знали сюжета и поэтому не могли понять его перевернутого смысла, а может, религиозная тема настораживала их. Я до сих пор помню испуг, с которым журналисты редакции, будучи у нас в гостях, смотрели на старую икону, которую я привез с собой. Справедливости ради замечу, что для меня икона была не предметом культа, а просто старинной вещью, имеющей определенную духовную и художественную ценность...

Несколько событий, произошедших одно за другим, слегка всколыхнули общественное сознание, если здесь уместно такое выражение, озадачило редакционный коллектив, привыкший за долгие годы ко всяким советским чудесам, и наполнила мою душу неясной тревогой и предчувствием близких перемен.

* * *

Партийные органы в категорической форме запретили председателю колхоза «Парижская коммуна» строить фонтан, которым он намеревался украсить родное село. Председатель рьяно защищал свой проект, но ему резонно напомнили, что «Парижская коммуна» является должником, надое падают, урожай гниет на корню. И вообще, пусть сначала он займется дорогами и решит проблему дефицита кадров, а потом может открывать хоть зоопарк. Фонтанов в советских колхозах не было, и этот прецедент, а также председатель колхоза с девиациями поведения обрадовать райком КПСС никак не мог. Трудно сказать, почему в голову председателя пришла такая нетривиальная идея. Может быть, из-за топонимических особенностей названия колхоза, может быть, из-за эстетического дискомфорта

та от постоянного созерцания унылых картин скудной российской действительности. Может быть, он переутомился. А может, это был гениальный финансово-экономический ход, который через несколько лет получил название «отмывание денег». Кто знает? В конце концов, после выговора с занесением в личное дело и статьи в районной газете у председателя случился инфаркт.

Следующее событие произошло в сентябре, если мне не изменяет память. Предстояли выборы в Верховный Совет СССР. Это примерно то же самое, что сейчас выборы в Государственную Думу. Говорю «примерно», поскольку разница все-таки есть. И заключается она в социальном статусе депутатов, во-первых, и в тех путях, которыми кандидаты шли к парламентским креслам. На этом разница заканчивается и начинается сходство. В советское время выборы были безальтернативными. Благодаря различным трансформациям и метаморфозам мы сейчас вернулись к этому, но все-таки нынешние выборы требуют определенных технологий, камуфляжа и использования серьезных финансовых ресурсов. Дань демократии, будь она хоть суверенной, хоть управляемой, приходится платить. Тогда все было проще: демократия была социалистической или народной (дефиниции демократии в России всегда придумывали затейливые), депутаты назначались и выборов, по сути, не было. Был день голосования с песнями, плясками, буфетами и всенародным весельем. Эту традицию попытались вернуть в наше время, но она как-то не прижилась, видимо, в силу своей неаутентичности: советская гармошка вышла из употребления, духовой оркестр на каждый участок поставить сложно, а камерный квартет — небезопасно. Итак, кроме партийной и советской номенклатуры, Верховный Совет комплектовался рабочими, крестьянами, научной и творческой интеллигенцией и молодежью. Все классы, прослойки и страты общества были представлены с соблюдением определенных процентов.

* * *

На сей раз выбор пал на доярку колхоза имени Чапаева Светлану, которая счастливо сочетала в себе принадлежность и к колхозному крестьянству, и к передовой советской молодежи.

Когда я пришел на работу, то сильно удивился царящей в редакции суете, не свойственной утреннему времени. Поступило указание обкома КПСС — срочно взять интервью у Светланы для двух газет: районной и областной. Поручили это непростое дело мне и даже выделили райкомовскую машину...

Из открытых окон правления колхоза доносился конкретный, искренний и, как потом выяснилось, справедливый русский мат. Через несколько минут я выяснил, что Светлану не могут найти со вчерашнего вечера, с того самого момента, как ей сообщили о будущей парламентской деятельности. Поиски продолжались почти весь день. Наконец, я догадался приватно побеседовать с доярками, и они, после минутного колебания, показали мне далекий, едва видимый в сумерках стог на сжатом пшеничном поле. Я долго брел по влажной стерне, дойдя, обошел стожок и увидел сидящую на соломе плачущую девушку с трогательной челкой и голыми коленками. Слезы текли по щекам, а взгляд излучал такую тоску, что впору было при-

нести soboleznovanie. Казалось, что не партийные и комсомольские органы выдвигают Светлану в Верховный Совет, а барин-самодур выдает ее, бедную крепостную-сироту, за нелюбимого. На мои просьбы и уговоры она не отвечала и, кажется, даже меня не слышала. Потеряв терпение, я процитировал:

— Я три дня и три ночи блуждал по тропам, в солонце рыл глазами удачу, ветер волосы мои, как солому, трепал и цепями дождя обмолачивал. Но озлобленное сердце никогда не заблудится, эту голову с шеи сшибить нелегко. Оренбургская заря красношерстной верблюдицей рассветное роняла мне в рот молоко. И холодное корявое вымя сквозь тьму прижимал я, как хлеб, к истощенным векам. Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека!

То ли слова «молоко» и «вымя» подействовали благотворным образом, то ли странно изменившийся строй моей речи, но она подняла на меня глаза, глубоко вздохнула и встала, отряхивая прилипшие к одежде соломинки...

Никакого интервью, конечно, не состоялось, и мне пришлось самому выдумывать его от первой до последней строчки. Увы, это было не в первый и не в последний раз. Наверное, уже тогда в моей журналистской работе появлялись зачатки publicrelations с национальным характером, советскими аллюзиями и российскими коннотациями.

* * *

Событие, произошедшее через некоторое время, было не чем иным, как постановлением политбюро ЦК КПСС, высшего руководящего органа СССР. В нем черным по белому говорилось о том, что на каждой молочно-товарной ферме каждого колхоза каждого района каждой области наряду с «красным уголком» должна быть построена сауна для улучшения быта работников села. Почему именно сауна, а не русская баня, — непонятно. Очевидно, какой-то крупный партийный работник во время визита в Финляндию посетил их национальную баню и, по достоинству оценив ее сухой пар, решил приблизить советских колхозников к европейским традициям и отдать дань современности и прогрессу. А может быть, он разглядел мудрым партийным оком дальнейшее развитие такого явления, как сауна на российских просторах, и вознамерился заблаговременно ввести этот процесс в цивилизованное русло... В любом случае это постановление своей эксцентричностью на порядок превосходило идею строительства фонтана в колхозе «Парижская коммуна».

Одних все это рассмешило, других рассердило, а третьи, те, кому предстояло реализовывать проект, впали в глубокую задумчивость, граничащую со ступором. Дело в том, что молочно-товарные фермы находились, как правило, на отшибе, зимой доярки добирались к месту работы в кузове грузовика, а вот весной и летом, при тотальном отсутствии дорог, к фермам мог проехать по непролазной грязи только гусеничный трактор; грузовые автомобили и колесные трактора вязли. Чернозем в районе был действительно эталонный: если ты наступал в грязь сапогом, то вытаскивал ногу уже без сапога. Как-то жена, записывая для районного радио интервью в селе

Большой Мартын, застряла в грязи в итальянских сапогах и долго стояла, озираясь по сторонам. Слева от нее была заброшенная церковь без куполов, а справа ветхий дом, земля вокруг которого была засыпана куриными перьями, стружками, сеном. На крыльце на ветхой трехногой табуретке сидел старик в галошах и сосредоточенно читал газету...

Но сапоги в эталонном черноземе теряли, как правило, пожилые люди. Практически вся молодежь к тому времени перебралась из сел в областной центр, привнесла в город свой менталитет и растворив в нем вековые городские законы и традиции. Сейчас они, или их уже взрослые дети, пьют в кафе капучино и рассказывают друг другу, сколько коктейлей бакарди они употребили в прошлом году в Турции. Есть в этом какая-то несправедливость. Не в том смысле, что они пьют бакарди, а может, и драмбуи. Они название это узнали не так давно, вот в чем дело, а мне оно знакомо с детства, из книг. Но, тем не менее, в Турцию меня не тянет, да и бакарди потерял свою привлекательность, если его может пить каждый мой соотечественник. Поистине у нас что революция, что эволюция — все едино...

* * *

Униформа работников ферм выглядела с октября по апрель следующим образом: сапоги или валенки, телогрейка, шапка-ушанка. Доярки поверх телогрейки надевали халат, у скотников в руках постоянно присутствовали вилы. Длинные прямоугольные здания ферм с толстыми стенами и маленькими окнами освещались тусклыми лампочками. Коровы стояли в стойлах. Перед их мордами с прекрасными глазами находилась кормушка и поилка, а там, где зад, — желоб для навоза. Грязно, холодно, темно и по-русски функционально. И, тем не менее, доярки, самоотверженности, терпению и доброте которых я не переставал удивляться, умудрялись получать неплохие надои и сдавать на заготовительные пункты чистое молоко. Впрочем, обо всем этом в Политбюро ЦК КПСС могли и не знать.

В переведенной и изданной в России культовой фантастической эпопее «Дюна» Андерсена и Герберта присутствовала раса космических злодеев тлейлаксу, которые в длинных залах в специальных аксолотлевых чанах содержали людей, превращенных в мини-фабрики. Еда и вода поступали в организм из кормушек и поилок, а люди вырабатывали тот продукт, который был необходим. Я долго думал, что это мне напоминает и, наконец, понял: молочно-товарную ферму образца начала 80-х годов прошлого века.

Представить себе на такой ферме сауну, совмещенную с «красным уголком», где на грубо оштукатуренных стенах висели стенгазеты, экраны социалистического соревнования и плакаты идеологического содержания, мог человек только с сильно развитым воображением. Однако постановление ЦК при всей его абсурдности надо было претворять в жизнь. Обкомы и райкомы сформировали летучие отряды из партийных работников, журналистов и архитекторов, и этот десант поехал по колхозам «изучать вопрос».

В любом районном центре, как и в любом селе, в советское время обязательно жили «умные старики», нечто среднее между духовным авторитетом, юродивым, аксакалом, политическим обозревателем и дедом Щукарем. Они комментировали все события, происшествия, давали оценку новым людям, в том числе и партийным назначенцам, анализировали, прогнозировали и допускали в своих высказываниях определенную смелость, поскольку говорили не на кухнях, а, как правило, публично. Были они достаточно образованы, саркастически настроены и неопрятны. Сейчас такие старики практически вымерли. Был такой и здесь. Звали его Захар Дмитриевич. По поводу постановления Центрального комитета он сказал следующее:

— Может быть, где-то и построили сауну, но мне об этом ничего не известно. Я ясно понял одно: ЦК агонизирует. Но меня всегда удивляло и восхищало одно: та непоколебимая уверенность, с которой любая российская власть, от Рюрика до наших дней, даже в агонии, принимала указы, законы и постановления. Я имею в виду уверенность в том, что народ будет все это исполнять. Не меньшее восхищение вызывает столь же непоколебимая уверенность народа в том, что закон исполняться не будет.

Возможно, Захар Дмитриевич имел в виду вечный российский договор «по умолчанию» между властью и народом, который и обеспечивает прогресс и развитие, как мы его понимаем?

Со времени описываемых мною событий прошло не менее 35 лет. За эти годы и со страной, и со всеми нами случилось столько, что этого хватило бы лет на триста любой другой стране, и не факт, что эта страна продолжала бы существовать. Интересно, тот я, двадцатидвухлетний, и нынешний, потрепанный судьбой, ко всему привыкший, видевший и знающий слишком много для средней человеческой жизни... Кто из нас умнее? Прихожу к странной мысли, что умнее тот, ушедший с ранних лет во внутреннюю эмиграцию, обогащенный свежими знаниями, острым восприятием действительности, сарказмом, циничной искренностью и монтеневским скепсисом, позволявшим принимать правильные решения и жить в согласии с морально-нравственными принципами. Умнее, честнее, смелее, красивее. Ведь так называемый жизненный опыт, на который мы так любим ссылаться, не добавляет нам ума. Это не более чем альбом с фотографиями в шкафу или папка с файлами в вашем компьютере — кому что нравится. Мы не используем его, а просто иногда перелистываем, вспоминая и тут же забывая. И похожие ситуации мы переживаем, как в первый раз. Иначе как объяснить те глупости, которые мы делали и продолжаем делать в своем солидном возрасте. О чужом опыте, на котором якобы надо учиться, я не хочу даже говорить. Да и, к слову сказать, слишком часто у нас все меняется и наш опыт никак не сочетается с новыми парадигмами и превращается в груз прожитых лет, пригибающих тебя к земле, лишаящих остроумия и радости существования. Когда ты приходишь к мысли, что

конформизм и даже обскурантизм, который просачивается сквозь трещины твоего вроде бы сформировавшегося мировоззрения, — не результат жизненного опыта, а просто усталость и непонимание некоторых трендовых процессов, становится легче. И тут главное не пойти на поводу у накопленного интеллектуального мусора и не скатиться в банальный российский экзистенциализм, который благодаря стараниям Шестова и Бердяева приобрел на наших просторах совершенно особую окраску. Действительно, интуиция, экзистенциальное озарение, право выбора, наконец, то, что «страх есть головокружение свободы» — большой соблазн для отягощенных чрезмерным образованием россиян. Куда как лучше — христианство, соизмеренное с эпикурейством. Но это доступно не всем, в силу вполне объяснимых причин...

* * *

Работа в редакции была монотонной, и мне постепенно становилось скучно писать об одном и том же и об одних и тех же. Поэтому я стал разнообразить очерки о сельских жителях именами различных философов и писателей, а репортажи с ферм и полей — цитатами из Вергилия и Гесиода, тем более что все было в тему.

Началось все с очередной редакционной планерки, на которой опять встал вопрос о «секрете», который позволяет передовикам производства добиваться высоких надоев и урожаев. На самом деле никакого секрета не было, а было элементарное соблюдение растениеводческих технологий и хорошие корма для крупного рогатого скота. Об этом и говорили передовики, но журналистов это не устраивало, и они спрашивали о секретах. При этом вопросе лица передовиков, агрономов и зоотехников темнели, взгляд становился раздраженным, пальцы непроизвольно сжимались в кулаки, и они, сославшись на неотложные дела, спешили скрыться. Вот я и разнообразил репортаж с посевной цитатой из Вергилия: *«Но перед тем, как взрезать ты начнешь незнакомое поле, надобно ветры узнать и различные смены погоды. Также отеческих мест постигнуть обычай и способ».*

Получилось симпатично, и я продолжил разрабатывать эту жилу. Правда, ругались верстальщики: им непривычно было набирать гексаметр, который на полосах районной газеты не появлялся со дня ее основания. Редактор писателей и философов безжалостно убирал, сопровождая вычеркивания лаконичным «не выпендривайся!», а Вергилия с Гесиодом, подумав и покусав кончик шариковой ручки, оставлял. Так продолжалось довольно долго, пока редактора вместе со мной не вызвали на бюро райкома партии.

* * *

За столом, накрытым красной скатертью, сидели суровые мужчины в черных костюмах, и лишь один — в светло-сером; это был уже знакомый мне первый секретарь, не разрешавший мне пройти в подвернутых джинсах мимо памятника Ленину. Перед ним лежало несколько газет, полосы которых краснели карандашными подчеркиваниями и восклицательными знаками, вынесенными на поля.

— Начнем, товарищи, — сказал он напряженно и словно бы с усилием. — На повестке дня корреспонденция районной газеты с рекомендациями древних греков. Редактор и автор здесь. С вашего позволения начну цитировать.

Секретарь взял верхнюю газету и ровным голосом, стараясь не сбиваться на сложном поэтическом размере, произнес:

— *Знать наперед, под каким созвездьем обрушатся Австры, чтобы скотину держал селянин недалеко от хлева...*

Ладно, идем дальше...

Хочет ли кто молока, пусть дрок и трилистник почаще сам в кормушку несет, а также воды присоленной: будет милее вода и туже натянется вымя...

И, наконец...

Также учись и хлева ароматным окуривать кедром, духом гальбана умей отвратную выгнать хелидру...

В кабинете над столом повисла тяжелая черная, как снеговая туча пауза.

* * *

— Так, — сказал секретарь и посмотрел на главного районного зоотехника. — Какой у нас среднемесячный надой по району?

Зоотехник ответил на вопрос и опустил голову.

— Вот-вот. Корма вам выделили, кадрами обеспечили, а результат — ноль. Остается окуривать фермы кедром, трилистником и этим... гальбаном. Пусть запасутся на зиму. Хелидру выгнал?

— Я не знаю, кто это, — тихо сказал зоотехник.

Секретарь обратил свой тяжелый взор на меня. Я пожал плечами:

— Я тоже не знаю. Либо коровья болезнь, либо змея.

— Выяснишь и, если она есть, выгонишь, — обратился секретарь к зоотехнику и взял следующую газету. — Все ясно?.. Теперь переходим к растениеводству...

Влажная ль почва, сухая — паши передышки не зная, с ранней зарею вставая, чтоб пышная выросла нива. Вспашешь весной, а летом вдвоишь и обманут не будешь. Передвоив, засевай, пока еще борозды рыхлы. Если усердно рыхлить не потрудишься граблями, шумом отпугивать птиц и листву затеняющую ниву, будешь ты видеть, увы, что полны закрома у соседа, голод же свой утолять по дубравам, дубы сотрясая...

Тут все понятно: двойное боронование, двойная вспашка. Где у нас главный агроном? Что скажешь, Иван Игнатьевич?

— Не везде проводим, — громко и даже с вызовом ответил агроном, словно рапортовал об очередной трудовой победе.

— Не везде, — повторил секретарь. — Ладно. Продолжим...

Но торопись, пусть год отдыхает поле под паром, чтоб укрепилось оно, покой на досуге вкушая. Ну, а как сменится год, засевай злаки, там, где с поля собрал урожай, стручками шуршащий...

Севооборот самый натуральный. Сеяли зерновые по бобовым, как положено. Об этом и спрашивать не буду — не соблюдаем севооборот, не отдыхает почва...

Лишь бы ты почву сырым удобрил навозом или нечистой золой утомленное поле посыпал...

Внесение органических удобрений по-древнегречески. А мы химию сыпем, азотом перекармливаем...

— Вы понимаете, что эти греческие рекомендации — план работы для вас на весь год? — продолжал гнуть свою продуманную речь первый секретарь. — Пять тысяч лет назад древние греки так делали. У них ума хватало. А если бы этот Вергилий на наши урожаи посмотрел, то со смеху умер бы. Дальше читаем...

Трудно тому бедняку, кто в корчмах заседают, надеждою доброй томится, когда он и хлеба куска не имеет. Предупреждай домочадцев, когда еще лето в разгаре: помните, лето не вечно продлится, готовьте запасы...

Ну, это просто слово в слово постановление ЦК КПСС о борьбе с пьянством и алкоголизмом. Вот так, товарищи. Хотите или нет, но берите все это на вооружение... Что там еще греки нам советуют?

Я понял, что он обращается ко мне, поднял глаза к потолку и процитировал:

— Но сеешь ты, жнешь или пашешь — голым работой всегда, только так приведешь к окончанию вовремя всякое дело Деметры. И вовремя будет все у тебя возрастать, недостатка ни в чем не узнаешь...

— Это уже лишнее, — сказал секретарь. — Будем работать одетыми. И без Деметры этой... Хотя, неплохо сказано: *священные зерна Деметры...* Как у Леонида Ильича, в «Целине». Но не лучше, конечно. Значит, так. Подводя итоги. В газете греков печатать прекращайте. А все их советы по поводу аграрно-промышленного комплекса — мне на стол в виде служебной записки. Есть у них еще что-нибудь полезное?

— Есть. Рекомендации по овцеводству, пчеловодству, коневодству, — ответил я.

— Хорошо. А на счет перерабатывающих предприятий?

— Не знаю пока.

— Узнайте. Переходим к следующему вопросу. Редактор, как член бюро остается, а автора мы отпускаем.

* * *

Несмотря на то, что первый секретарь упорно называл Вергилия древним греком, ударения в некоторых словах он ставил так, что поэтический размер звучал правильно. Об этом я подумал, выйдя из здания на площадь.

«Интересно, пошутил он про хелидру? И будет ли зоотехник ее искать?» — размышлял я, провожая взглядом понурую лошадь, запряженную в телегу, нагруженную пустыми алюминиевыми бидонами из-под молока. Маленький старичок в телогрейке держал вожжи и хитро поглядывал по сторонам.

То, что партийные органы решили опираться в своей деятельности на «Георгики» Вергилия и «Труды и дни» Гесиода было, с одной стороны, неплохо. Но за Вергилия стало почему-то немного обидно.

Значения слова «хелидра» я не знал. Это слегка раздражало. Словари не помогли. К слову сказать, недавно я посмотрел значение этого слова в интернете. Не нашел. Вот как. Так что, вполне вероятно, что эта хелидра до сих пор живет на какой-либо ферме, понят-

но, что в других, более комфортных условиях, злобно смеется и ждет своего часа, и никто не подозревает, какая страшная опасность ждет нас в ближайшем обозримом будущем. А возможно, все наши беды от нее. Это она — невидимая, неузнаваемая, живучая — устраивает нам проблемы, поставляет горести, множит печали. А мы списываем все на внешних и внутренних врагов, кризисы, особенности национального характера, происки, как говорили раньше, мировой закулисы и действия, как говорят теперь, наших западных «партнеров», необозримость территории, наследие Сталина, геном крепостного права и Бог знает на что еще. А виновата во всем хелидра. И надо всего-навсего окурить хлев гальбаном. Но как-то руки не доходят, да и гальбан сегодня — в серьезном дефиците.

* * *

Философские теории никак не приживались на страницах районной газеты, древние греки попали под партийную цензуру, русская хандра, подобная английскому сплину, вернулась опять и я начал помогать самодеятельным поэтам писать стихи.

Материалы в редакцию несли все. Во-первых, профессиональные графоманы, во-вторых, жалобщики и кляузники, в-третьих, поэты. Положение дел не изменилось и сейчас. Это явно российская традиция и фантомный советский зуд. В редакцию газеты тогда жаловались по любому поводу, и эти проблемы решались. Но ведь даже и сегодня многие взрослые современные серьезные люди время от времени спрашивают: может, в газету написать? Парадокс заключается в том, что эти люди газет не читают и не знают, что бумажная пресса практически исчезла, кроме того, как на оставшиеся бумажные, так и на виртуальные средства массовой информации, будь они якобы оппозиционные или лояльные, никто, и в первую очередь власть, никакого внимания не обращает. Это не более чем атрибут демократии, являющийся, как любят говорить философы и продвинутые современные писатели, симулякром общественного мнения...

Коля Тряскин кое-как закончил восемь классов средней школы, стал заочником культпросветучилища, учебного заведения, до сих пор вызывающего у меня одним своим названием чувство близкое к мистическому ужасу, и пытался устроиться на работу заведующим клубом в селе Котуховка. В армии он не служил, поскольку психиатры дали свое недвусмысленное заключение. Кроме того, он хромал. Писал Коля левой рукой: на правой отсутствовали три пальца. Беда заключалась в том, что в свободное время он сочинял стихи.

* * *

Коля заходил в кабинет в сдвинутой на затылок цигейковой шапке, в пальто с барашковым воротником, в ортопедических ботинках, клал на стол мятую рукопись, садился на стул, зажимал между коленей искалеченную руку и молча ждал, пока я прочитаю его стихи, неотрывно глядя на меня тяжелым взором, временами улыбался чему-то, а иногда его взгляд блуждал где-то очень далеко.

Стихи были чудовищными. Он упорно приносил их в редакцию еще до моего приезда сюда, ему так же упорно их возвращали, через

неделю он приходил снова. Мне, как новому человеку и молодому специалисту, вменили в обязанности работу с Колей Тряскиным, как со стихийным бедствием. Но вместо того, чтобы продолжить добрую редакционную традицию, я решил довести Колины стихи до определенной кондиции, что и было сделано через две недели.

С придуманными мною и переписанными Колиным почерком строчками я направился к редактору. Из-за закрытой двери кабинета раздавались громкие крики. Это означало, что редактор ругает кого-то из журналистов за серьезную ошибку или беседует с фотокорреспондентом Владимиром Ивановичем. Оказалось, — второе.

Владимир Иванович, приложив ладонь к мясистому волосатому уху, кивал головой, а редактор кричал:

— Ручки! Ручки!

— Да-да-да — кивал головой Владимир Иванович. — Понимаю. Сам вчера об этом думал.

— Ручки, Владимир Иванович! — надрывался редактор. — Вы во время планерки все время берете у меня со стола шариковые ручки! Никто не берет! Ни Николай Станиславович, ни Яков Витальевич, ни вот... Андрей. Только вы берете шариковые ручки!

— Да, я тоже думал. Ручки! Ручки он боится запачкать. Чистеньким хочет остаться!

Редактор махнул рукой, и Владимир Иванович вышел из кабинета.

* * *

Петр Петрович сел за стол и вопросительно посмотрел на меня.

— Да вот, Петр Петрович. Тряскин стихи принес. Новые. Вроде ничего.

Я протянул редактору рукопись. Он прочитал, поднял на меня глаза и спросил:

— Это Тряскин написал?

— Да, — ответил я. — Тряскин. По-моему, это гораздо лучше того, что мы публиковали на майские праздники. Куролесина этого.

— Нет, — сказал Петр Петрович. — Публиковать не будем.

— Почему?

— Он больной человек.

— Все поэты были по-своему больные. С отклонениями.

— Кто именно?

— Да кто угодно. Хоть Вийон, хоть Лермонтов, хоть Байрон.

— Тряскин — не Байрон. А Пушкин как же, тоже с отклонениями?

— Пушкин — счастливое исключение.

— Хорошо, пусть у меня стихи эти полежат. Посмотрим.

В кабинет вошел фотокорреспондент. Он подошел к столу редактора и сказал:

— Петр Петрович, я придумал, как нам от него избавиться. Надо в райком пожаловаться. А то ручки он боится испачкать.

Неуловимым движением Владимир Иванович взял со стола редактора шариковую ручку и сунул ее во внутренний карман. Редактор тяжело вздохнул и закрыл глаза...

У Владимира Ивановича была странная внешность. Особенно

выделялись большие вывернутые уши. Когда я смотрел на него со спины, то казалось, что затылок — это лицо до самой шеи закрытое волосами. Спустя годы, я понял, что фотокорреспондент был похож на монстра из фильма «Звонок», поворачивающего голову вокруг своей оси и смотрящего на мир из-под черных волос, полностью закрывающих лицо.

* * *

Я вернулся в кабинет и сказал Коле, что стихи его рано или поздно будут напечатаны.

— Ладно, — сказал он. — Стихи — это не главное. Это для души. Я вот хочу в партию вступить, сразу критиковать недостатки будет легче. Ну, ничего, дайте только культпросветучилище закончить! Крупный пост займу — никто от меня не укроется! Тебя, Андрей, редактором сделаю, а вас, Николай Станиславович, министром... Хотел вот еще объявление в газету дать о том, что жениться хочу, ищу невесту. Как в прибалтийских газетах. И тираж бы у вас сразу повысился. А Яков Витальевич говорит: нет. И смотрит сквозь свои очки, как будто расстрелять меня хочет... Ну, ничего. Пошел я, в село пора, в клуб. Работы много. Лекции надо читать о борьбе против религии и пьянства, против того, отчего мы страдаем и чем живем. А то у меня в Котуховке мальчишки с третьего класса пить начинают... Вот только официально меня на работу не принимают. Говорят, что со второй группой инвалидности нельзя. А что можно? Можно телеграммы разносить. А я работать хочу, министром хочу быть. Вот оформлю себе вторую группу, сразу возьмут.

Он ушел, оставив на столе коробок спичек, на котором химическим карандашом было написано слово «лето» и рифма к нему: «нету». То ли чего-то нету летом, то ли нету самого лета. Думаю, что в душе у Коли царила вечная нескончаемая осень.

Его слова я почти дословно процитировал по своим дневниковым записям, о которых забыл и которые обнаружил случайно. Я листал потрепанные блокноты со смешанным чувством печали и легкого раздражения, настолько все это было наивно и правильно. После таких взглядов, эмоций и выводов уже не могло быть ничего нового в последующие годы. Так и случилось. А сейчас я чувствую, что ностальгические настроения постепенно исчезают и времена смыкаются в какой-то точке, координаты которой я никак не могу определить...

* * *

Через несколько дней я встретил его на заснеженной улице и после ничего не значащего разговора сказал:

— Послушай, Коль.

Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка, не проси об этом счастье, отравляющем миры. Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка, что такое темный ужас начинателя игры. Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки, у того исчез навеки безмятежный свет очей. Духи ада любят слушать эти сладостные звуки, бродят бешеные волки по дороге скрипачей...

Я буквально физически чувствовал, как он пытается впустить эти строчки в себя, понять их и оценить, как он открывает все внутренние шлюзы. От напряжения на его лице выступили капли пота. Потом он как-то обмяк, посмотрел на меня пустым, ничего не выражающим взглядом и сказал:

— Пошел я, Андрей. Автобус на Криушу через пятнадцать минут уходит... А у меня стихи все равно лучше...

Когда я видел ночную пургу, заставшую нас в дороге, покрытые снегом черно-белые поля, несущие в себе какой-то зашифрованный скрытый код, или поля, заросшие желтой сурепкой, улыбающиеся мне ехидной и желчной улыбкой, безлюдную деревню, пойманную в мелкую сеть осеннего дождя, российскую тишину и пустоту, имеющую название и место на географической карте, старую церковь с выщербленными стенами, словно переболевшую оспой, я забывал, кто я, где нахожусь и что мне делать дальше.

Когда я вспоминаю гипсовый бюст Ленина в редакционном кабинете, ведро с водой и эмалированную кружку на стуле в коридоре, сломанный стул, на который рано или поздно кто-нибудь садился и падал на пол, старую карту районных сельхозугодий с фиолетовым штампом «Секретно», трещину в стене здания редакции, заставляющую меня думать о сейсмической активности, мне кажется, что я смотрю старый фильм в темном маленьком кинозале. Сейчас я не могу сказать точно, произошло все это со мной или с кем-то другим. Наверное, со мной, если сломанный стул собирали и ставили на место, и опять кто-то садился на него и падал. И если российскую тишину можно увидеть, а пустоту — услышать.

* * *

Один день был похож на другой. Зимой дни начинались с растопки печи. Иногда по утрам оказывалось, что надо наколоть дров. В этом случае, одевшись, я колот в сарае дрова и нес их в квартиру, жене. Заставший меня за этим занятием местный алкоголик Василий Иванович как-то спросил: «Андрюха, а что это ты дрова в галстук колешь?»

Чтобы попасть в редакцию, мне надо было просто пересечь площадь, и еще на лестнице я слышал резкий скрипучий голос литсотрудницы отдела партийной жизни, которая по телефону собирала информацию для заметки о передовике производства:

— Стойте! Подождите! Не вешайте трубку! Он хороший человек?.. Хороший он человек, я спрашиваю?.. Ясно! Коммунист?.. Понятно! Дети есть? Я спрашиваю, дети у него есть?!

Часто меня неожиданно ждала какая-либо рутинная работа, которая при всей кажущейся бессмысленности все-таки была нужна кому-то. Надо было погрузиться с головой в этот социалистический нарратив, и тогда проблески смысла оживали, как заснувшие зимой между оконных стекол мухи с наступлением теплых дней.

Приходилось выезжать в колхозы, названия которых все чаще заставляли меня глубоко задумываться о происходящем. Связь между именами Маркса, Энгельса, Дзержинского, Либкнехта и реальным положением дел на отдельно взятой ферме была видна невооруженным глазом. И никакая человеческая доброта, целеустрем-

ленность, как и отдельные успехи, трудовые победы и перевыполненные планы уже ничего не могли изменить. Писать о буднях и праздниках советского села становилось все труднее, поскольку все это перестало быть даже иллюзией, превратившись в подсознательное ожидание чего-то неизвестного, для одних радостного, для других тревожного и даже страшноватого. Такая ситуация может привести к серьезному душевному недугу, это вам скажет любой участковый психиатр. Симптомы уже проявлялись, но распад СССР, как крайне радикальное лекарство, вылечил кого-то, а на кого-то подействовал, как инъекция сульфазина, погрузив в мрачную раздвоенную реальность, заставляя вести невнятные разговоры с прошлым...

* * *

Единственное, что не утомляло меня тогда, так это дорога из райцентра в любой колхоз, занимавшая в среднем полчаса. Часто это была плохая дорога или ее отсутствие вообще, и, тем не менее, мы благополучно добирались из пункта А в пункт Б и так же благополучно возвращались. Эти полчаса — туда и обратно — вмещали в себя холмы, перелески и лесополосы, дожди, снег, а когда мы ехали не по асфальту, а по грунтовке, — овраги, распадки, ручьи и озера, рожицы, лужайки, с ясно видимыми издали семействами грибов, вспархивающих перепелок, стремительных зайцев, огненно-рыжих лис, одиноких людей, медленно идущих, сидящих на траве, смотрящих в небо. Какой-то внутренний фотоаппарат делал снимки, реагируя на обостренное восприятие действительности, свойственное молодости, и копил их до поры до времени в галерею души или мозга, про запас. Дорога длиной в полчаса не имела расстояния, она измерялась временем. Эти временные отрезки складывались, да и до сих пор складываются, в одну большую дорогу, идешь ли ты, едешь, плывешь или летишь. Конечный, а может быть, промежуточный пункт известен каждому, путь к нему — до последней остановки — тайна.

Правда, только сейчас я начал понимать, что любая дорога, как бы длинна она ни была, это путешествие или полет по твоим внутренним просторам. Нельзя сказать, что я не ощущал этого тогда, но именно ощущал, не более. Да и ощущение было каким-то легким, едва уловимым, приятным. Оно казалось тайной, которую я обязательно разгадаю, поскольку впереди у меня — вечность. Вот и разгадал. Ощущение оформилось и стало мыслью, с которой не поспоришь. Ощущение и мысль — это вся разница между прошлым и настоящим, вернее, между тем и этим временем. А лучше сказать — состоянием. Больше не изменилось ничего. Только не надо говорить об изменении формы собственности на средства производства, перевернутому вверх ногами основному закону философии и перекроенных государственных границах. Для большинства народонаселения форма собственности продолжает оставаться абстрактным понятием, на географические карты уже давно не смотрят даже географы, а нарушение основного закона философии относится к делам частного обвинения, которые не рассматриваются без заявления потерпевшего. Но, как вы понимаете, такого рода иски подают в европейский суд только обитатели домов, выкрашенных чаще всего в желтый цвет, окна которых забраны решетками. Да и то это случается крайне редко...

Продолжался день сосредоточенным написанием материала. Бывало, что мы смеялись над ошибками в газете. Что-нибудь вроде «корневой базы» вместо «кормовой базы», «двухяростного плуга», «высокооборонного аппарата» и прочего. Смеялись над стихами, написанными, скажем, на смерть Андропова и текстами графоманов. Если читать эти нескончаемые, на половину страницы, выведенные аккуратным детским почерком периоды вслух, то можно было задохнуться, а если про себя, — то сойти с ума.

Время от времени всплывали разные интересные ситуации. В одном из сел, где жили исключительно представители национальных меньшинств и наши отечественные самогонщики, на холме стояла огромная школа, в которой училось всего тридцать учеников. В ста метрах от школы располагалось несколько прудов, на берега которых каждый день с апреля по октябрь съезжались и сходились алкоголики, тунеядцы и прочие морально разложившиеся элементы. Из окон школы открывался прекрасный вид на эти пикники. Зимой берега прудов пустели, но и в школе прекращались занятия, поскольку не работало отопление. Однажды в пруд въехал пьяный тракторист. Трактор полностью скрылся в воде. А однажды утонула девочка. Ее вытащили, и пьяная мать стала делать ей искусственное дыхание. Изо рта девочки пошла вода и вишневый сок, который она выпила перед тем, как залезть в воду. Подумали, что это кровь и прекратили помощь. Тракторист остался жить, а девочка умерла... О таких макабрических случаях в газете не писали.

Завершиться рабочий день мог парой кружек пива и рассказом Якова Витальевича о своей службе в СМЕРШе. Ну, допустим, о подробностях ликвидации бандеровской банды, размере вознаграждения и об устрицах, которые бойцы ели после ликвидации:

— Штык-ножом раковины открывали, а что дальше с ними делать, не знали. Устрицы, это же не бандеровцы.

В одну из ночей мне приснилось, что я гуляю по осеннему огороду, с которого уже собрали урожай, с дрессированной крысой. Из ветхого сарая вышел мальчик в валенках, подшитых кожей, в старой телогрейке, с двустволкой в руках. И этот паршивец прицелился сначала в крысу, а потом и в меня. «Кто же тебе ружье дал?» — спросил я. «Сам взял», — ответил мальчик и засмеялся злым стариковским смехом.

По пути в редакцию я увидел на стенде у Дворца культуры афишу, на которой были нарисованы какие-то странные люди и краснела надпись, информирующая о том, что в районный центр приезжают лилипуты. Перед афишей стояли молчаливые сосредоточенные люди и внимательно ее рассматривали. От созерцания афиши многих не мог оторвать даже похмельный синдром, превращающий лица в маски.

Сырой октябрьский ветер был плотным, как туго набитая подушка.

На прошлой неделе, в четверг, в отсутствие редактора, его заме-

стителя и моего шефа (один был в командировке, другой болел, третий — на каких-то курсах), ко мне в кабинет вошел, скромно улыбаясь, румяный благообразный пожилой человек. Он представился торговым работником и долго рассказывал мне о своем славном военном прошлом и о трудовых подвигах на ниве советской торговли. Его рассказ изобилдовал такими любопытными фактами, что я в течение двух часов написал очерк, вечером сдал его в набор и в субботнем номере он был напечатан на потеху всему району. Как оказалось впоследствии, мой герой состоял под судом и следствием по делу о хищениях и злоупотреблении служебным положением. Публикацией в газете он хотел воздействовать на суровое советское правосудие. Правосудие на хитрую уловку не поддалось, а редактор хотел объявить мне выговор. Тем не менее, в понедельник вечером, уже в мое отсутствие, героический работник советской торговли принес в редакцию выпивку и закуску. Коллеги выпили за мое здоровье, и этот казус как-то сошел мне с рук. Но настроение было испорчено надолго.

День тянулся долго и нудно. В довершении всего, я бросил окурок в корзину для бумаг. Перед тем, как залить огонь, я несколько секунд наблюдал, как горит исписанная шариковой ручкой бумага. Сначала загорались буквы, и я видел написанные огнем слова.

* * *

К вечеру ветер стих. Звезды пульсировали, подмигивали, их лучи слегка подрагивали. Я шел мимо старого сада, огороженного ветхим штакетником.

— Здравствуйте, — послышалось откуда-то сверху.

Я поднял глаза и увидел на дереве человека в очках, большой, налезавшей на уши фуражке, с пилой в руке. Я узнал в человеке руководителя отдела физкультуры и спорта при районном исполнительном комитете Николая Алексеевича. Был он subtilen, добродушен, суетлив, а сейчас напоминал большую нахохлившуюся птицу, уютно устроившуюся на толстой ветке.

— Добрый вечер, — ответил я.

— Вот хотел сучок спилить, да на Луну засмотрелся. Размечтался, — сказал он и виновато улыбнулся.

— Да, зрелище завораживающее, — согласился я.

— Я бы сказал — отрезвляющее.

— В каком смысле?

— У меня в последнее время от так называемой реальной жизни — состояние тяжелого опьянения, притом, что я абсолютный трезвенник.

— Многие дорого бы заплатили за такую особенность.

— Наверное. Но мне от этого не легче. Как можно поднимать спорт в районе в таком состоянии? Тем более что я к спорту прямого отношения не имею. Я — шахматист. У меня все просчитано на несколько ходов вперед.

— И что там, впереди?

— Мат мне жизнь поставит, хоть она и не умеет играть в шахматы. Знаю, например, что спортивный праздник в колхозе «Дружба народов» провалится. Не побегут они эстафету.

— Почему?

— Скажут, что устали после уборочной. Шутить начнут. Мол, если бы вместо эстафетной палочки бутылка была, тогда побежали бы.

— А Луна здесь причем, Николай Алексеевич? — спросил я.

Он завозился, удобнее устраиваясь на ветке, и, помолчав, ответил:

— Не обижайтесь, Андрей, но я вам, наверное, не скажу. Ведь должен быть у человека какой-то секрет. Настоящий. Кроме того, если я расскажу, то вы тоже, чего доброго, будете смотреть на Луну с той же целью, что и я. А от этого может пропасть весь эффект. Вы-то найдете себе какую-нибудь равноценную замену этому занятию, а я уже нет.

Я кивнул, пожелал ему спокойной ночи и отправился домой.

* * *

Меня слегка задело то, что он не выдал мне свой секрет. В то время я считал, что любой человек, вступая со мной в отвлеченный разговор, просто обязан делиться самым сокровенным. Так было довольно часто, но я не испытывал к этим рассказам особого интереса, принимая их как должное и торопливо проходя мимо чужой жизни. Не могу сказать, чтобы такой интерес появился потом. Мне казалось, что рассказывая о своей жизни, люди используют друг друга в качестве священников, психоаналитиков или клоунов, поскольку не ходят в церковь, к врачу или в цирк.

Тогда я не обратил внимания на некоторые слова Николая Алексеевича. Вспоминая сейчас этот странный разговор, я ловлю себя на мысли о том, что всегда, как и большинство моих сограждан, видел и предугадывал будущее довольно четко и верно, иногда даже в мелких подробностях. Таковы особенности нашей российской жизни. А вот своего прошлого мы не знаем, не помним, блуждаем в нем, как в ночном лесу, и, в конечном итоге, соглашаемся с чьей-то шуткой о его непредсказуемости. Даже шутки у нас превращаются в пророчества.

Иногда за свое прошлое мы принимаем воспоминания, приятные или не очень, но это, как вы понимаете, серьезная, зачастую фатальная ошибка.

Бывает, что мы копаемся в чужом прошлом, выстраивая его по своему образу и подобию. Такое случается, когда мы хотим что-то понять и объяснить самому себе, как правило, свои неудачи, депрессию или трагическую любовь. Это бессмысленно, малоэффективно и может привести к душевной скорби, а то и к паранойе. Прошлые пожирают кинговские лангольеры, и если у кого-то получится посмотреть на него, то он увидит выжженную чужими проклятиями пустыню, без малейших признаков тех радостных красочных ориентиров, которые, как кажется, служат нам маяками на пути к предсказуемому и известному будущему. Эта ситуация не зависит ни от возраста, ни от социально-экономической ситуации. Так было во время описываемых мною событий, так происходит и сейчас. Даже в «роковые минуты» этого мира будущее было ясно видно, правда, далеко не всем и в перевернутом виде.

Что касается эстафетной палочки, в ее онтологическом смысле, то мы действительно передаем ее бегущим дальше и в виде бутылки, и в виде терпения, и в виде веры и неверия, и в виде других национальных особенностей.

Передаем принцип нерушимого единства политики, экономики и культуры. Плановая экономика социализма подразумевала социалистический реализм в искусстве. Нынешняя постмодернистская экономика подразумевает постмодернизм в литературе, драматургии и даже в фольклоре.

Но частенько, как мне кажется, мы вообще не передаем эту палочку — либо забываем, либо наши руки пусты, либо так или иначе ждущий тебя на следующем отрезке не захотел ее брать — и бежим свой этап, забывая о дисквалификации после финиша, думая, что несем в потной руке груз бесценного опыта и знаний...

— Я вот думаю, — сказал тогда, сидя на ветке, Николай Алексеевич. — Все мы, как доказано наукой, совокупность информации, заложенной в генах, переданной нам предками. А вдруг прав был Лысенко и все наши действия — эффект концентрированных воздействий условий внешней среды?

Именно тогда мне впервые пришли в голову еще не оформленные мысли по поводу моего неизвестного прошлого и предсказуемого будущего. Мало того, я увидел вместо прошлого Николая Алексеевича пустоту между голых веток яблони, на которой он сидел, а будущее его виделось так же ясно, отчетливо и обнаженно, как полная Луна в черноте космоса. Я внимательно посмотрел на Николая Алексеевича и негромко процитировал, скорее для себя, чем для него:

— Верю сказкам наперед: прежде сказки — станут былью, но когда придет черед, мое мясо станет пылью. И когда знамена оптом понесет толпа, ликуя, я проснусь, в землю втопан, пыльным черепом тоскуя. Или все свои права брошу будущему в печку? Эй, черней лугов трава! Каменей навеки, речка!

Он услышал, но вот понял ли, не знаю. Когда я обернулся и посмотрел на него, улыбка на его лице показалась мне гримасой страдания. А может, это привиделось мне в обманчивом лунном свете.

В дальних сельских школах района о начале уроков и перемен возвещал не электрический звонок, а колокольчик. Хотя для колокольчика он был великоват, а для колокола — маловат. Нечто среднее, величиной с большое яблоко, литой, с надписью по ободку и датой: 1861 год. Не знаю его первоначального назначения: может, он висел под дугой саней, а может, его специально купили для школы, тем более что здание было старым, земским. Эти краснокирпичные здания до сих пор служили школами, амбулаториями, подсобными помещениями. Так что сам колокольчик напоминал о прошлом, постоянно и неизменно превращающемся в настоящее, а вот его звон доносился явно из будущего. Такое случается в России сплошь и рядом: сам предмет вроде бы вышел из употребления, а

действия, которые при его помощи производят, рисуют нам отдаленные перспективы. И колокольчик никуда не денется, и арифмометр, на котором когда-то производили все расчеты, придумывая атомную бомбу, пригодится.

Правда, в этом колокольчике была небольшая трещина, и поэтому в его чистый и сочный звук вкрадывалась некая хрипотца, намекающая на то, что не все в обозримом будущем так уж безоблачно.

Дети в сельских школах хором здоровались с любым, даже незнакомым человеком, в их приветствии звучала такая радость и искренность, что сразу хотелось рассказать им что-нибудь интересное и научить чему-нибудь хорошему, пока скучному и плохому их не научили другие люди. Казалось, если заглянуть в класс, то увидишь живую картину художника Богданова-Бельского «Устный счет», написанную им в конце позапрошлого века, на которой дети в чистых белых рубашках, подпоясанных витыми шнурками, и, по всей видимости, в лапоточках, сосредоточенно вычисляют в уме результат довольно сложного примера, написанного на доске... Интересно, решат его в уме нынешние школьники?

Колокольчик оповестил о начале урока и одновременно прозвонил мне, словно напомнив о завтрашнем дне. Я уже знал, что означает этот звон: пора было собираться в дорогу.

* * *

Когда Серен Кьеркегор сказал, что со времени изобретения печатного станка дьявол поселился в типографской краске, он не подзревал, насколько часто отцу лжи придется менять место обитания. Жил ли дьявол в советских газетах и журналах? Трудно сказать, поскольку в идеологии СССР отсутствовало понятие Бога, а стало быть, и понятие его антитезы. Хотя Бог и дьявол присутствуют в сердцах людей независимо от идеологических парадигм...

Не то чтобы газетное вранье было бескорыстным и не претендовало на умы граждан. Не было и претендовало, и в этом смысле советский бегун передал эстафетную палочку российскому бегуну безукоризненно. Была заминочка на промежуточном этапе, в 90-е, но ее успешно преодолели и превратили в неоспоримое преимущество...

Однако дьявол уже достаточно давно переселился из типографской краски в телевизионный эфир, а сейчас отремонтировал и оставил новое жилье в интернете, где полезная площадь и условия замечательные, а жилищно-коммунальные платежи практически отсутствуют. И через некоторое время дьявол оставит в покое идеологию и возьмется за свои прошлые дела с новой fishingnet, в которую попадут пользователи с обнаженными слабостями, пороками и инстинктами — обратной стороной так называемой независимости. И лайк превратится в фишхук с наживкой в виде фотографии или примитивно зашифрованного послания. Да, собственно, уже превратился. Все это к слову о предсказуемом будущем...

Но в те времена, о которых я рассказываю, ни о каком интернете, понятное дело, речи не шло. Его просто не было. Вместо интернета люди пользовались мозгами и архивами. Однако глубокие знания и высокий интеллект, как и сейчас, особого счастья их владельцу не приносили. Скорее, наоборот. Наряду с острым восприятием

действительности все это приводило и приводит человека к одиночеству. Но это особое одиночество, его не увидишь невооруженным глазом, да и понимание этого состояния, его ощущение и горький осадок приходят позже и, как правило, неожиданно, как и другие откровения и озарения...

Одним словом, дьявола в печатных машинах и краске районной типографии не было, был мелкий бес, который формально следил за порядком, устраивал мелкие пакости и пил водку с наборщиками и линотипистами. Как и многие другие рядовые советские граждане, он потерял цель. Она сначала стала миражом, а потом и вовсе растворилась в нашем бескрайнем пространстве и физически ощущаемом времени. А когда теряется цель — появляется вторая реальность, иллюзорная, существующая параллельно истинной. Долго жить в такой ситуации не может ни человек, ни государство. Но вот мы жили и радовались тому, что радовало нас: солнцу, морю, лесу, родниковой воде, добрым словам и мыслям.

* * *

Само словосочетание «советская власть» в середине 80-х годов прошлого века приобрело явный архаичный оттенок. В русский язык сквозь идеологические трещины просачивались англоязычные термины и оседали до поры, чтобы потом создать странную новорусскую лексику, формирующую очередной вектор развития.

Власть время от времени совершала ритуальные действия, которые народонаселение поддерживало, подчиняясь закону инерции. На первомайских демонстрациях из репродуктора над городом разливалась песня, сочный баритон убеждал подвыпивших граждан, идущих нестройными колоннами, в том, что «будет людям счастье, счастье на века, у советской власти сила велика». Сил, однако, хватало только на декларации, лозунги и сдерживание гонки вооружений, что тоже было важно.

Если ты не особенно сильно высовывался, то власть давала тебе возможность по-тихому заняться разными интересными делами. Страна в то время жила исключительно по физическим законам, а поскольку внутренним содержанием человеческих душ и государственных закровов стала пустота, то согласно всеобщему закону природы Ломоносова «сколько у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому, ежели где убудет несколько материи, то в другом месте умножится». Энергия трансформировалась. В котельных зарождались рок-группы, люди собирались для обсуждения восточных эзотерических практик и западных философских течений, на книжных полках стояли Булгаков, Солженицын и Дэйл Карнеги, размноженные на ротапринте.

Люди заполняли пустые ниши в своих исторических, литературных и философских знаниях. В каких-то издаваемых альманахах, антологиях, мемуарах вполне лояльных советских писателей мелькали цитаты из Мандельштама, Хлебникова Северянина, Крученых, неизвестные исторические факты, в контрпропагандистских статьях можно было почерпнуть информацию о современных европейских философах, рок-группах и социальных настроениях. Надо было просто уметь и хотеть читать строки и между строк. Но это требова-

до кропотливого труда. Спусти десятилетие всю эту информацию можно было получить, просто нажав кнопку поиска на клавиатуре компьютера. Но знания, приобретенные в результате тяжелого поиска, оседали в голове, переплавлялись работой мозга в четкие понятия, формировали мировоззрение, рождали такой мощный инструмент развития, как сомнение...

Многие нынешние пользователи интернета, черпающие из него не только информацию, но и модель своего *modus operandi*, напоминают мне советских старушек, слепо верящих печатному газетному слову и «говорящей голове» в телевизоре. А уж те, кто доверяет свои чувства, переживания и мысли социальным сетям...

* * *

Кое-что, конечно, может измениться. Когда-то я считал декабристов и Емельяна Пугачева бунтовщиками, вопреки официальной идеологии. Сегодня я готов признать их борцами за освобождение народа. Нет, Пугачева пока еще не готов, а декабристов — пожалуй. Конечно, современные историки и политологи вполне могут найти факты о связях декабристов с Западом и признать их иностранными агентами, да, кажется, уже находят. Правда, доказать, что их действия были проплачены какой-нибудь Великобританией, трудно: у декабристов своих денег хватало.

Но вот ведь что еще. По воспоминаниям декабриста, барона Владимира Штейнгеля, отправленного в ссылку в 1827 и вернувшегося в 1856 году, было и такое в действиях суда в отношении бунтовщиков: «Когда таким образом из одних готовили род гекатефонии тени Александра, других спасали по уважениям фамильным, даже с сокрытием их прикосновенности. Отсюда вышло то, что 20-летние прапорщики, 18-летние мичманы явились ужасными государственными злодеями, дышащие цареубийством, ниспровержением престола, а люди уже солидные, участвовавшие обдуманно, оказались невинными и отпущены без огласки: одни — из дворца, другие — из штаба, третьи — даже из крепости, просидевшие в ней до окончания процесса». Попробуй, разберись тут без эстафетной палочки. Значение слова «гекатефония» в википедии я не нашел, как и значения слова «хелидра». Значит, не нужны они российскому обывателю. Не то чтобы обыватель будет лихорадочно искать в интернете этимологию этих слов. Но вдруг случайно наткнется и начнет копать глубже...

Между фильмами «Звезда пленительного счастья» и «Союз спасения» — 45 лет. Продвинутые советские девчонки влюблялись тогда в декабристов со всем пылом своих неокрепших и блуждающих в поисках туманного идеала душ. Это очистило декабристов от всех идеологических примочек и было единственной правдой. Здесь, конечно, сыграл свою роль талант прекрасных актеров того времени. Может быть, так случится и с «Союзом спасения»? Не знаю. Может быть. Но идеал здесь несколько поменяет свое содержание.

Но, собственно, я не о фильмах. О книгах, которые мы в те времена искали, доставали, покупали. Воспоминания барона Штейнгеля взяты мной из книги «Мемуары декабристов», купленной в букинистическом отделе книжного магазина районного центра. Там

были очень хорошие книги, и эту мы с женой приобрели первой. Второй книгой была проза Камило Хосе Села.

Книжный магазин я посещал практически каждый день, и каждый раз находил что-то интересное: либо книги, либо диалоги покупателей с продавцами. «Это о чем книга? — О жизни. — Если о жизни, давайте. — Держите».

* * *

В общем, все книги о жизни, о том, из чего они сделаны. Но они разные, как и наши жизни. Есть книги, которые читаешь не ради сюжета, не из-за их так называемой популярности, не для того, чтобы что-то узнать или научиться жить, упаси Бог, хотя таких сочинений сейчас множество. Нас учат жить правильно все, кому не лень.

Есть книги, которые перечитываешь каждый раз, просто потому, что это твое последнее прибежище и это, естественно, не надоедает. Примерно, как приезжая на побережье, каждый день погружаешься в море — изначальную стихию, в которой растворены солнце, соль, души погибших людей, сбывшиеся людские надежды и несбывшиеся, но от этого не менее красивые мечты.

Одна из таких книг была сейчас в моих руках. Я читал, а экран телевизора светился нежным голубоватым цветом. Диктор программы «Время», позволив себе на улыбку, словно сдерживая искреннюю радость и извиняясь за официальные рамки, которые не дают проявить эту радость так, как ему хотелось бы, проникновенно произнес:

— Считанные часы остались до Нового, 1984-го года! Трудящиеся нашей страны встречают его трудовыми победами и прекрасным новогодним настроением! Еще есть время купить подарки и елки. Но такое настроение царит далеко не везде. Слово нашему специальному корреспонденту в Лондоне.

На экране появилась фигура специального корреспондент в явно английском пальто и ярком галстуке. Он крепко сжимал микрофон рукой в лайковой перчатке. Его взгляд был скорбным и одновременно мужественным, и в то же время настолько ответственным, что сразу становилось понятно: он с трудом и с честью несет свою нелегкую журналистскую вахту. За его спиной, по темной лондонской улице, хранящей какие-то неясные туманные перспективы, быстро шли люди, похожие на выползших из своих ночлежек героев романа Диккенса.

— Европа встречает Новый год, — отчетливо и громко, словно обращаясь к душевнобольным или иностранцам, проговорил спецкор, и уровень мужественной скорби на его лице повысился до мхатовской высоты и искренности. — Но им, — показал он головой куда-то назад, — не до праздника. У многих лондонцев просто нет средств, чтобы купить на Новый год елку. Вместо елочных базаров они спешат на акции протеста. Они знают, что полиция пустит в ход водометы и слезоточивый газ и некоторым придется провести праздничную ночь в участке...

Судя по внешнему виду лондонцев, воровато крадущихся за спиной специального корреспондента, ночь в полицейском участке была бы для них самым лучшим завершением мрачного дня. Я выключил

телевизор и перевернул страницу: «На этом острове никто даже и не слышал о Дарби, — бормотал он рассеянно. — Никто, кроме нас... — Потом взял себя в руки и крикнул: — Послушайте! Я пришел сюда, чтобы вырыть клад, и никто — ни человек, ни дьявол — не остановит меня. Я не боялся Флинта, когда он был живой, и, черт его возьми, не испугаюсь мертвого. В четверти мили от нас лежит семьсот тысяч фунтов стерлингов. Неужели хоть один джентльмен удачно способен повернуться кормой к такой куче денег из-за какого-то синерожего пьяницы, к тому же еще и дохлого?»

Жена повесила на елку последний стеклянный шар. Она прошла мимо меня, и я взял ее за руку. Мы прислушались. Гудела растопленная печь. Во дворе скрипел снег под чьими-то шагами. Утром я выгнал мышь из духовки, и сейчас в ней шипел, запекаясь, гусь из колхоза «Победа Октября». За окном выла метель, заметая пустую площадь. На голове гипсового Ленина вырос снежный шлем, рождающий странные мысли и ассоциации. Районный центр готовился к встрече Нового года.

* * *

Утром, не успели мы с шефом выкурить по первой сигарете, меня вызвал редактор. На нем был новый яркий широкий галстук, повязанный так высоко, что походил на ромб, и один из его странных костюмов. У Петра Петровича имелось несколько костюмов с лацканами необычной формы. Я все время пытался определить, в какое время они были в моде, и не мог этого сделать. Я смотрел на свои костюмы, на костюмы моего отца и деда на старых фотографиях 30-х, 40-х, 50-х и 60-х годов, и не находил ничего общего. Присутствовало какое-то сходство костюма Петра Петровича с костюмом Александра Куприна, в котором известный писатель был запечатлен на дагерротипе конца XIX века, но сходство отдаленное.

— Сегодня к 12.00 тебя ждут в райкоме партии, — сказал редактор, постукивая строкомером по столу и глядя на портрет Ленина...

— Зачем, Петр Петрович?

— Решается вопрос о твоём переводе в областную газету. Рановато, конечно. Я думал, что еще годик ты поработаешь. Но им там виднее.

Легким жестом руки Петр Петрович одновременно отпустил и как бы благословил меня.

Шеф, услышав новость, погрустнел. Хотя «погрустнел» — не совсем точное слово: шеф не грустнел, он становился унылым.

— Этого следовало ожидать. Но рановато. Еще год можно было поработать.

Все вроде бы радовались, но говорили, что рановато. Но я был уверен, что не рано и не поздно, а в самый раз, поскольку я уже начал привыкать к этой жизни, вялой, местами неудобной, чужой, но в чем-то приятной, похожей на печеную в золе картошку. Начал привыкать к маленьким радостям маленького городка, к людям, к преимуществам профессии. Журналистов тогда было мало, газет немного и работников пера, как тогда называли всю нашу братию, несмотря ни на что, уважали.

Я не то чтобы не обрадовался переводу в областную газету, но не

удивился, потому что знал свое ближайшее будущее гораздо лучше, чем прошлое. Правда, вариантов развития событий могло быть несколько, но именно этот, профессиональный, был, как тогда мне казалось, единственно верным. Остальные требовали тяжелых моральных компромиссов, а некоторые могли привести к распаду личности, что довольно часто случалось и случается как в СССР, так и в современной России.

Перспективе могла помешать только привычка к размеренной жизни, к бесплатным обедам с водкой в отдельных кабинетах колхозных столовых, к желтым пятнам октябрьских перелесок и ноябрьским полям, способным растворить в своей печали любую человеческую душу. К пьяным крикам умного старика Захара Дмитриевича: «Люблю Россию я, но странно любовью!», к русским красавицам из молочного магазина, дома культуры и пункта проката. Было к чему привыкнуть в этом маленьком городке, носящем официальный статус «поселок городского типа». Но он был мне чужим.

* * *

Первый секретарь принял меня в своем кабинете достаточно радушно, насколько это было возможно для человека с непроницаемым лицом и тяжелым взглядом. Изобразив подобие улыбки, он сказал:

— А, Вергилий! Проходи, садись.

«Хорошо, хоть не хелидра», — подумал я, усаживаясь в кресло у низкого журнального столика с газетой «Правда» на полированной поверхности.

Надо сказать, что юмор партийной номенклатуры был тяжело-ватым. Собственно, это был не юмор, а просто изменение стилистики и характера речи, сопровождаемое мимическими сокращениями лицевых мускулов, иначе называемых улыбкой или скупым смехом. Реакция собеседников наступала незамедлительно. Улыбнулся и я.

— Ну, что ж, — продолжил секретарь. — Вопрос решен. Тебя переводят в областную комсомольскую газету. Но мне звонили из обкома партии. Есть у них заинтересованность в тебе. Так что, глядишь, в партийную газету попадешь, а там и...

Секретарь кивнул на газету «Правда», и лицо его внезапно омрачилось.

— Нас тогда не забывайте, — добавил он, переходя на «вы».

Я понял, что он опять пошутил, и снова улыбнулся.

— Рекомендацию дадим вам хорошую. Но расти можно и здесь, по партийно-комсомольской линии.

— Я не член партии.

— Формальность, — махнул рукой секретарь и, поняв, что сказал не то, наклонил голову, словно прислушался к слову, и поправил сам себя. — Почетная формальность.

— Спасибо, но я, наверное, в газету. Да и домой хочется.

— Понимаю. Желаю удачи, — сказал секретарь, поднялся и протянул мне руку. — Про хелидру помню, она нам еще создаст проблемы, — добавил он, понизив голос.

Я хотел было улыбнуться, подумав, что секретарь в очередной раз пошутил, но, поглядев на него, понял: он говорил серьезно. Все

это напомнило мне диалог из какого-то старого советского фильма. На секунду мне показалось, что в его раскосых, татаро-монгольских глазах мелькнуло предчувствие скорого конца. Впрочем, вру. Это я додумал потом. Или не додумал, а придумал, по своей дурной берклианской привычке создавать образы, не обращая внимания на то, каковы люди в реальности.

Ближе к концу рабочего дня мы тихо выпили в редакции. Саша, молодой сотрудник газеты, взял фотоаппарат и запечатлел на пленке мундштук Якова Витальевича, унылый нос шефа, уши Владимира Ивановича, испуганный взгляд Ольги Борисовны и мой задумчивый профиль.

По пути домой я зашел в молочный магазин и, что-то купив, продекламировал, глядя на продавщицу:

— Может, поздно, может, слишком рано, и о чем не думал много лет, походить я стал на Дон-Жуана, как заправский ветренный поэт. Что случилось? Что со мною случилось? Каждый день я у других колен. Каждый день к себе теряю жалость, не смиряясь с горечью измен.

В такие моменты на лицах русских красавиц можно наблюдать невероятную гамму чувств, состоящую из огромного, почти физического удовольствия, полного непонимания того, что им читают, и временной амнезии, которая проходила, как правило, к обеденному перерыву. Так всегда бывает с русскими красавицами. Впрочем, они уже не были ими. Всего два года моего пребывания здесь понадобилось, чтобы их черты расплылись, фигуры отяжелели, а во взгляде появилось нескрываемое отвращение к жизни...

Весь день шел снег с дождем. К вечеру подморозило, и шоссе превратилось в каток. Рейсовый автобус проехал от автостанции километра два и остановился. Пассажиры вышли. Ураганный ветер сносил автобус к обочине. Мы с женой стояли на дороге, стараясь удержаться на льду. Ветер дул нам в спину, словно подталкивая вперед. Наконец, водитель махнул рукой, и люди заняли свои места. Сто километров до областного центра мы преодолели за восемь с половиной часов.

* * *

В обкоме КПСС царил плотная подмогильная тишина. Я шел по красному сукну из кабинета в кабинет: из сектора печати в отдел агитации и пропаганды, из отдела агитации и пропаганды — в кабинет второго секретаря, курировавшего идеологию. Кабинеты были разными, как и люди в них: один простой, нарочито суровый и грубовато-доброжелательный, второй — молчаливый, застывший, как памятник, третий — красивый, изящный, похожий на дипломата. Все они говорили примерно одни и те же слова: «Вы слишком молоды для должности заведующего отделом областной газеты. К тому же, вы — беспартийный. Но мы решили доверить вам этот пост. Надеемся, что вы понимаете, какая ответственность ложится на вас...»

Они пытались слегка расшатать устои, думая, что это поможет спасти положение, как и в случае с саунами на молочно-товарных фермах. Но это только усугубляло ситуацию. Их слова умирали тут

же, не успев вылететь изо рта, и бесшумно, как мертвые насекомые, падали на красно-зеленые ковры, застеленные поверх старого, но хорошо наощенного паркета. Здесь, в этих кабинетах, не было ни прошлого, ни будущего. Одно настоящее, застывшее, словно стрелка на остановившихся часах. Впервые я физически ощутил, что такое разрыв пространственно-временного континуума, по крайней мере, так мне показалось. Свое будущее я видел абсолютно ясно, совершенно забыв о недавнем прошлом. Как видел его в начале 90-х, и в их конце, и в начале «нулевых». Кстати, никак не могу понять этого выражения — мы начали новое летоисчисление, что ли? Хотя — все возможно. Когда-то, на одном из приемов в Кремле в честь юбилея Сталина, кто-то из литераторов всерьез предложил начать новое летоисчисление со дня рождения отца народов. А сейчас потихоньку, без объявления, миновав второе тысячелетие, мы его начали. С конкретной датой пока не определились, но это не проблема...

В моем родном городе стояла сказочная осень, слегка туманная, с нежной желтизной в воздухе, с ласковым, чуть сырым ветром, раздувающим полы плаща. Наверное, гораздо важнее времена года, чем то, что происходит весной, осенью, зимой и летом. Мы не видим явной связи, а между тем, надо разобраться, что является причиной, а что следствием. По крайней мере, времена года постоянны, все — в них, и если ты воспринимаешь их так, как надо, то разглядываешь свое будущее в хорошем цейссовский бинокль, определяешь направление и идешь к нему. Вот и весь секрет.

Партийные работники пожелали мне удачи, и она не покидала меня. Может быть, она и сейчас со мной, просто я перестал понимать, что это такое. Осень тоже шептала мне в ухо с легким придыханием: «Все будет хорошо. Тебя ждет радость и счастье. Никто не пропадет, и ничего плохого не случится...» Я помню этот шепот, но сегодня «хорошо» и «плохо» поменялись местами, а лимит радости и счастья подошел к концу.

* * *

Может, тогда, в обкомовском кабинете, я почувствовал присутствие хелидры, грызущей своими острыми зубами временные мосты. Но говорить об этом я, естественно, не стал, поскольку начиналась иная жизнь. Но это уже, как говорили писатели-фантасты братья Стругацкие, совсем другая история.

Интересно же то, что вот уже несколько лет, как я свое будущее видеть перестал. Еще год назад я не мог и вообразить, что буду сейчас сидеть там, где сижу, лениво набирать текст этого послания на старом ноутбуке, лежащем на дощатом столе, прихлебывать отвратительный ячменный чай, к которому, справедливости ради надо сказать, начал уже привыкать. Я смотрю в чужое небо и пытаюсь открыть свою электронную почту, чтобы отправить письмо. Ничего не получается. Я обращаюсь к покровителю интернета святому Исидору Севильскому с просьбой о восстановлении связи. Но здесь другие святые, и мои просьбы повисают в пустоте.

В воздухе кружатся сухие снежинки, словно перхоть, осыпающаяся с чьей-то огромной головы. Я начинаю вспоминать. Сначала тот город, который я покинул год назад. Я вижу его смутно, словно

сквозь законченное стекло. Ничего интересного или неожиданного там нет. Знакомые люди, совершающие предсказуемые поступки, мои лихорадочные попытки создания иллюзий, достойные какого-либо второсортного фокусника, несовпадения и несоответствия, соединения несоединимого и горькие вечерние отрезвления. Об этом, может быть, поговорим как-нибудь потом, если успеем.

Потом другой, быстрый, шумный, порочный, но по-своему честный, этот город ждет своего рассказчика.

Затем тот, сорокалетней давности, которого уже нет. Его я помню четко, до деталей. Темные ночные улицы, открытые дворы и подъезды, старую застройку частного сектора, где дома сбегали вниз, к реке, и происходили таинственные чудесные истории. Полуразрушенные здания церквей, веселые, рассыпающие фейерверки белых искр, трамваи, запущенные парки, общепитовские рестораны с разбавленной водкой и салатом «Столичный». Цензор, ставящий штамп на газетной полосе, утренний тираж газеты, слегка сырой, пахнущий типографской краской, внезапно возникающие и так же внезапно исчезающие из моей жизни люди, строчки текста, написанного от руки или напечатанного на пишущей машинке, пьянки в прокуренном редакционном кабинете. Об этом городе я, кажется, рассказывал кому-то. Но помню смутно.

Наконец, маленький районный центр, который я не просто помню, а вижу, осязаю и обоняю. Из этих воспоминаний получился рассказ.

* * *

Все эти времена, как разные страны. Вопреки мнению тех, кто считает, что никаких границ в жизни человека не существует, я говорю обратное. Мало того, границы эти похожи на государственные. Одни мы пересекаем официально, оформляя визы и другие необходимые документы, а какие-то переходим нелегально, используя поддельные паспорта или проволочников с их тайными тропами. И, наконец, приходим туда, где будущее теряет конкретные черты и направления. Например, сейчас я могу идти отсюда в любую сторону, но далеко не уйду. А прошлое развернулось, как бумажный рулон, и потекло обратно. Только вот прошлое это не мое. Чье-то, наверное. А может быть, оно уже вообще не принадлежит никому.

